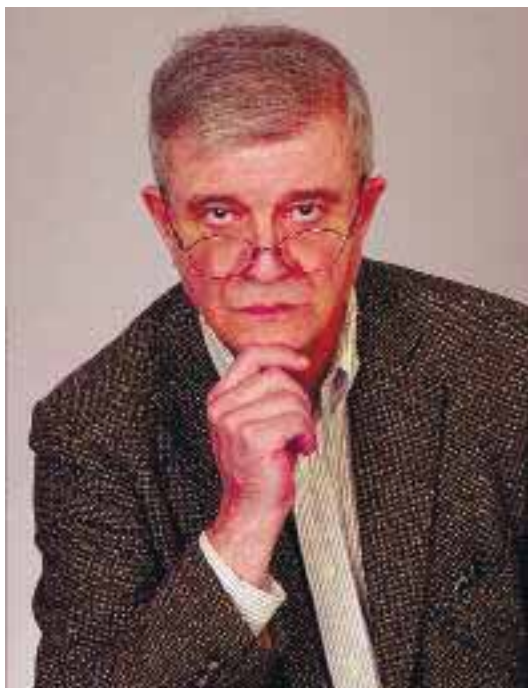




Карен Араевич Свасьян –

доктор философских наук, с 1993 года живёт в Швейцарии, где занимается лекторской и издательской деятельностью при Forum für Geisteswissenschaft Zürich, автор многочисленных книг на русском и немецком языках

Россия и будущее

1

Что в русской истории с Петра бросается в глаза, так это темпы её свершения. Ещё Жозеф де Местр удивлялся им в своё время: «Отчего эта фатальная спешка? Можно подумать, перед нами подросток, которому стыдно, что он не старик. Все прочие нации Европы два или три века лепетали, прежде чем стали говорить: откуда у русских претензия на то, что они заговорят сразу?» Они и заговорили, и — что удивительно — не просто сразу, но сразу о *последнем*. Удивительнее всего, впрочем, то, что, заговорив так, они даже не заметили своего отсутствия, того, что их нет, не вообще нет, а пока нет — в том же точно смысле, в каком нет будущего, загаданного, еще не свершившегося... Не то чтобы русская история началась с Петра; просто та, допетровская, знала о себе как истории не больше, чем Журден о том, что говорит прозой («листом белой бумаги» назвал её Чаадаев). С Петра, конечно, начинается не история России, а шумно обставленное пробуждение её в историю, по сути, всё тот же продолжающийся сон с переворачиванием с одного, татаро-монгольского, бока на другой, европей-

ский, бок, после чего естественно меняется и топика сновидений, в которых роль воспитателя и опекуна переходит от священника к брадобрею. Наверное, можно было бы говорить о своего рода насильственном «крещении» в цивилизацию, когда прохожих отлавливали на улицах, ставили на колени и стригли примерно в том же режиме, в каком их предков загоняли в реку. Известно, что доходило до мятежей и восстаний, которые беспощадно подавлялись, но не иначе обстояло и с другими реформами влюбленного в Европу царя. Нужно было зашибить все кегли традиции одним шаровым ударом государственной воли, и единственное, на что приходилось рассчитывать, были темпы, бесшабашная стахановщина юной души, взявшейся за считанные десятилетия проскочить экстерном через европейское тысячелетие. «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: “Чёрт побери всё!” — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и



Александр Бенуа. В Немецкой слободе. Отъезд Петра I из дома Лефортова. 1909

сам летишь, и всё летит: летят вёрсты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сём быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да лёгкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижимы» (Гоголь). Вдруг выяснилось, что дорога летит не невесть куда в пропадающую даль, а по заранее заданному курсу: *догнать и перегнать*. В этом «*догнать и перегнать*» явственно означена реальность национального консенсуса, поверх и помимо всякого рода идеологических программ и мимикрий. Сначала обгоняли Европу по квоте рождаемости собственных Платонов и быстрых разумом

С Петра начинается не история России, а шумно обставленное пробуждение её в историю, по сути, всё тот же продолжающийся сон с переворачиванием с одного, татаро-монгольского, бока на другой, европейский, бок.

Ньютонов. Потом Америку по производству мяса, молока и масла. И уже совсем недавно ту и другую — за 500 дней. Эти 500 дней понимают правильно, когда осмысляют их в контексте не социальных реформ, а волшебных сказок, потому что если здесь и удалось что-то догнать и перегнать, так это не рыночную экономику, а *тысяча и одну ночь* под девизом: «*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью*». Если конкретно: арабскую сказку — российской былью. Разумеется, с учетом «прав граждан на лучшую, более достойную жизнь».

2

Можно предположить (или догадаться), что в начале России, а значит, до неё самой, была её литература. И ещё можно предположить, что не-

бывалая гениальность, несравнимость этой литературы не в последнюю очередь определялась её неведением собственной — *паралитературной* — роли, в каковую её вогнали абсолютно идеологизированные критики (вроде Мережковского) и без каковой её после этого невозможно стало воспринимать. Ей просто назначили быть больше, чем она сама, расширив её до философии, богословия, жизни и даже учебника жизни, после чего ей в культурном Бедекере было отведено примерно то же место, что и Золотому кольцу в Бедекере туристическом. В результате круг познаний европейцев о России существенно расширился с самовара и блинов до Достоевского и «*загадочной русской души*», но хуже

всего было даже не это, а то, что в загадочность поверили не только туристы, но и сами автохтоны, поверив же, стали убеждать себя и других, что они со всеми своими апокалиптическими подъёмами и спадами температур ближе к правде и Богу, чем тёплая и выплёвываемая Европа. То есть в душу сначала вложили загадочность, а после стали равнять на неё буквально всё: поступки, судьбы, жизнь, потому что как же и жить иначе, когда загадочно «нутро». В итоге не столько русскую литературу уместили в России, сколько саму Россию посадили в русскую литературу, и, наверное, из всех выдумок и диковинок природы эта была наиболее фантастической: некая мастерская по производству непредсказуемостей, да ещё и в жанре *реализма* (в более поздней аватаре даже «*социалистического реализма*»). Темпы метаморфоз поражают и здесь. Шестов цитирует где-то замечание одного влиятельного критика по выходе в свет «Преступления и наказания»: «Счастливы народ, беллетристы! Когда нашему брату, учёному человеку, приходит в голову дикая мысль, мы не можем сделать из неё никакого употребления. Нельзя даже признаться, что она побывала у тебя в голове! Беллетрист же — дело иное: ему всякая дичь годится. Вложить её “в уста” действующего лица, и прав: никто ничего возразить не может». Это наиболее безобидный, отвлекающий внимание срез проблемы. Потому что действующее лицо, в уста которого вкладывается «*дичь*», — не просто *dramatis persona* из пенсума литературоведов, а некий голем, спрыгивающий со страниц романа в жизнь, чтобы *действовать* уже не в переносно-эстетическом смысле, а в самом что ни на есть прямом. Если современники, читаю-

щие Спенсера, Милля и Дрэпера, морщась, относили героев Достоевского по ведомству фантастики и психологии, то причина лежала, скорее всего, в дрэперовско-спенсеровском же понимании «реализма». «*Нет таких людей на Руси*». Совершенно верно. Но они — *будут*. Реалист не копист-списатель, а пророк-угадчик, потому что через считанные десятилетия общим местом станет понимать русского человека через Достоевского. Он выдумал их, всех этих студентов, подростков, идиотов и бесов, дав им место в инкубаторе сознания, после чего им не оставалось ничего иного, как нарождаться в безумных количествах и ждать своего часа. Ещё и сегодня богатые русские туристы, буянющие в тихих швейцарских отельчиках и удивляющиеся, когда в этом видят хулиганство, а не тоску, даже не догадываются, насколько прочно они припаяны к карме русской литературы, расширившей их до «всечеловеков», чтобы они потом, мучась своей широтой, тщетно силились сузить себя до просто «человеков». До таких малостей, как приличие и такт. Какое еще, к чёрту, приличие, если они проснутся с тяжёлым и тёмным чувством вины, смывать которую будут паломничеством в Иерусалим или отстаиванием очереди к поясу Богородицы!

3

Карл Лёвиг прекрасно охарактеризовал однажды Гёте и Гегеля в словах: «Гёте развил немецкую литературу до мировой литературы, а Гегель немецкую философию до мировой философии. Их созидательной силе была присуща абсолютная нормальность, потому что то, что они хотели, соответствовало тому, что они могли». То же сказал однажды о себе и сам Гёте: «Мое пред-

ставление о совершенстве на всех ступенях моей жизни и развития мало чем разнилось от того, что я сам в состоянии был сделать на каждой ступени». Можно было бы в несколько модифицированной форме сформулировать это и как соответствие между душевным складом и возрастом. Притом не только и не столько в поведении, сколько в образе мысли и качестве мыслительных процессов. По типу: нормально, когда подросток мыслит наивно, а взрослый муж, соответственно, зрело; ненормально, когда подросток зрело, а иной убеждённый сединой муж по-подростковому. Нет сомнения, что первое, нормальное, из названных соотношений встречается крайне редко, а второе, патологическое, едва ли не на каждом шагу. Нужно представить себе случай, когда, достигнув, скажем, 28-летнего возраста с соответствующим возрасту складом мысли, умственно останавливаются на достигнутом. Счётчик жизни накручивает годы как бы вхолостую, потому что с годами не умнеют, а остаются, даже если исполнилось 82, при своих неизменных 28-ми. Другой крайностью этой аберрации было бы не отставание, а опережение, когда ум обгоняет возраст: действительно обгоняет или чаще всего внушает себе, что обгоняет. Можно допустить, что это отклонение имеет силу не только для отдельных людей, но и для народов и что с помощью его мы лучше понимаем специфику различных исторических эпох. К примеру, пятый дохристианский век Греции и век Гёте как редкие образцы соответствия. В других случаях речь идёт как раз о разнообразиях несоответствия, и мы едва ли ошибемся, если будем судить о нынешнем состоянии той или иной нации по её соотносённости со своим про-



Адолф Баумгартен-Стойлов. Тройка

шлым либо будущим. Скажем, о сегодняшней Италии как о пережившем себя собственном прошлом: душе, которая остановилась, как часовая стрелка, на головокружительном *rinascimento* и только оттого продолжает жить, что ничего не знает о собственной смерти. Или о диаметрально противоположном случае: России, которая вот уже три века как умирает в будущее — только потому, что не может найти себя в настоящем.

4

Нелепость петровской перестройки была не столько в том, что здесь на российскую почву пересаживался Запад, ни даже в том, что делалось это под страхом быть выпоротым, сколько в том, что пересаживалось сразу готовое и *последнее*. Но последнее Запада, его *dernier cri* («последний крик моды», *фр.*), никак не годилось на то, чтобы и здесь быть последним. Здесь оно оказыва-

Не столько русскую литературу уместили в России, сколько саму Россию посадили в русскую литературу, и, наверное, из всех выдумок и дикушинок природы эта была наиболее фантастической: некая мастерская по производству непредсказуемостей, да ещё и в жанре реализма.

лось первым: началом, но таким, которое разыгрывало себя в топике конца. Оттого, едва войдя в историю, сразу заняли ниши апокалипсиса и эсхатологии, ничего не желая слышать о ненавистной середине. Густав Шпет запечатлел ситуацию в режущих, как нож, характеристиках: «Запад прошёл школу, а мы только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу, что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо *схоле* у нас *асхолия*. За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах, любим последние слова, решаем последние вопросы. Будто бы дети, но на школьной скамье, мы — недоросли. Такими родились — наша антиномия —

от рождения, вернее, от крещения: крестились и крестимся по-византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем немецкие, пишем книжки без стиля». Результатом этой антиномии стала вопиющая неоднородность — дискретность и дистопия — культурного пространства в оппозиции оторванных друг от друга и обречённых в этой оторванности на дегенерацию *«интеллигенции и народа»*. Если фокус Петра и удался, то, скорее, как изящно отделанный барочный фасад, скрывающий от глаз абсолютную несогласованность интерьера; дело было даже не в выборочности эксперимента, где культурный вирус прививался в пропорции, ска-

Илья Глазунов. Князь Мышкин. 1956

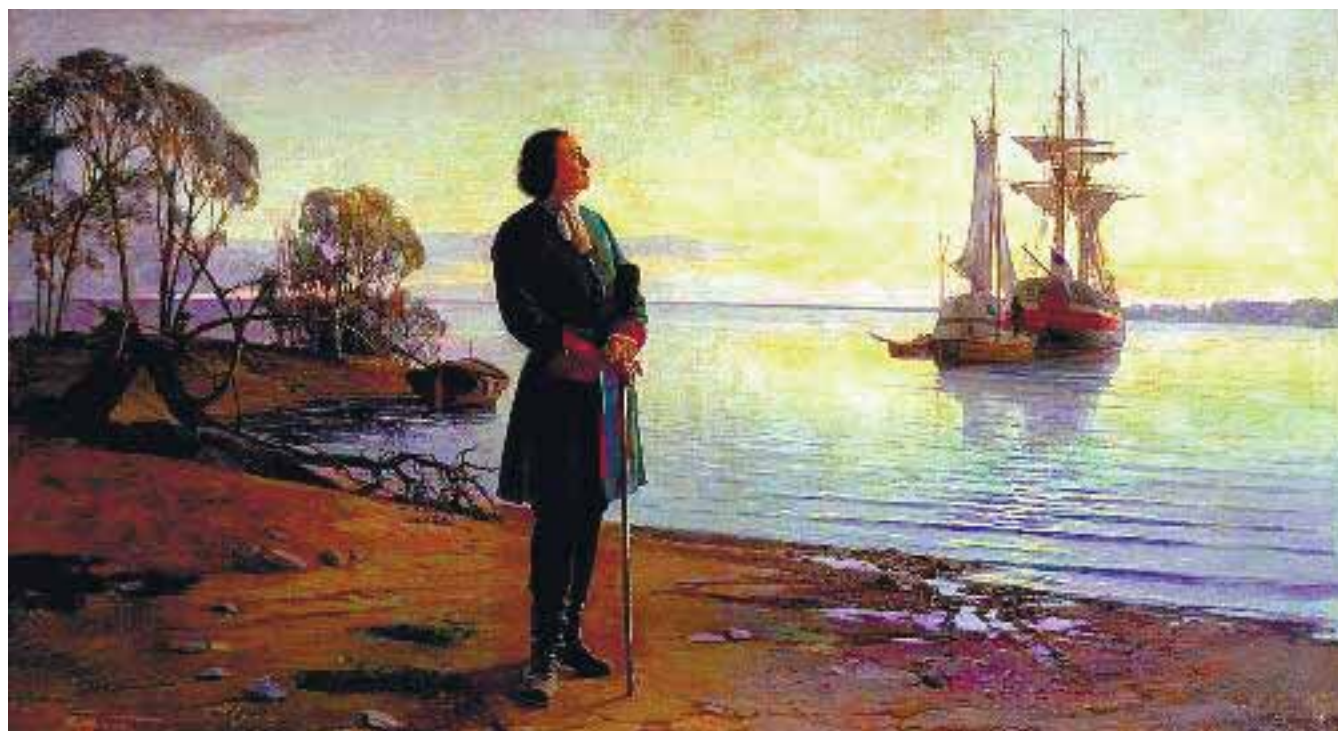


Достоевский выдумал всех этих студентов, подростков, идиотов и бесов, дав им место в инкубаторе сознания, после чего им не оставалось ничего иного, как нарождаться в безумных количествах и ждать своего часа.

жем, один к тысяче (и даже больше), а в несовместимости, если не противоположности, почвы; но если уж можно было однажды выстроить столицу на болоте, то что могло помешать выдать трясины за субтропики. Так, чтобы ответ на вопрос: «*Ты знаешь край, где мирт и лавр растут?*» — не оставлял сомнения: Россия... Притом

что несомненным было другое: пушкинское «*чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!*» С душою и с талантом значит: с сознанием. С таким сознанием, которое чувствует себя как дома в Европе, но никак не может свыкнуться, ужиться с собственным, *родным*, бессознательным. Нужно представить себе барина, говорящего

по-французски с гостями, со слугами же по-русски, да так, что не поймёшь, когда на родном, а когда на чужом. Он бездельничает, охотится, играет в буриме или в вист, зевает, влюбляется, ревнует, спит, просыпается, снова спит. Или, в другом раскладе: читает, спорит до хрипоты о смысле жизни, о Боге, обедает, страдает. Это абсолютная тургеневская идиллия: сознание, разместившееся где-то наверху и проживающее собственные бури в стакане воды. Отчасти и толстовская, где мир (как «мир» и покуда «мир») не менее идилличен, хотя и в совершенно отличном от тургеневского мира смысле, потому что, если в последнем спят, чтобы спать, то здесь спят, чтобы пробудиться в смерть. Конец идиллии — «смешной человек», засыпающий в сон, чтобы нарушить его безмятежность и вообще лишиться его. Чего люди Достоевского не знают, да и не умеют, так это спать. Словно бы в подтверждение паскалевской максимы: «*Вплоть до скончания мира будет длиться агония Иисуса; не пристало всё это время спать*». Они и не спят, а агонизируют в собственной бессоннице, из которой выуживают не только бредовые фантазии вроде «Сна смешного человека» или «Бобка», но и эпилептические провалы в будущее. Хотя с веранды швейцарского санатория, на которой сидит князь Мышкин, и открывается сказочный вид, но князю совсем не до этого, потому что ему непременно надо плакать: беспричинно и часами, как это и приличествует «идиоту». Но «идиот» предчувствует что-то такое, о чём и не догадываются ни призрачные тургеневские герои, ни даже пробудившиеся герои Толстого: возвращение на родину в миге встречи с Рогожиным, своим тёмным двойником. Стихийный Рогожин — бессознатель-



Николай Добровольский. Здесь будет город заложен. 1880

ное Мышкина, оскаливающееся звериной страстью; правда то, что сознание, отрезанное от этого бессознательного, близко к святости, но правда и то, что ещё ближе оно к идиотизму. Обратно: святой Мышкин — сознание Рогожина, обретшее тишину и покой. Оба (побратимы) принадлежат друг другу, как лицевая и оборотная стороны медали, как две половинки одного целого. Без Рогожина сознание Мышкина обречено на идиотизм, но и бессознательное Рогожина обречено без Мышкина на одержимость и неистовство. Это всё та же тема «интеллигенции и народа», по сути, тема тем истории русской души в непрекращающейся цепи срывов и провалов. Идиотическое сознание интеллигента затопляется народным бессознательным и погружается в мрак безумия, а само бессознательное, расшевеленное идиотически-интеллигентскими лозунгами, вроде: «Мир хижинам, война дворцам», — начинает громить усадьбы, сжигать библиотеки, поднимать на вилы вчерашних господ, чтобы, в свою

Нелепость петровской перестройки была не столько в том, что здесь на российскую почву пересаживался Запад, ни даже в том, что делалось это под страхом быть выпоротым, сколько в том, что пересаживалось сразу готовое и последнее.

очередь и с другого конца, попасть всё в то же, только жанрово иначе декорированное, безумие.

5

Этому устоявшемуся, на все лады опробованному (чтобы не сказать, усвоенному) безумию русская история последних двух десятилетий противопоставила новое и во всех смыслах нелепое. Речь уже шла о пересадке не того или иного органа, а самой головы. Как если бы в ответ на грезы гоголевской девицы: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича», — некий демон-шутник взял, да и поменял сразу всю голову. К тому же на такую, которая никак — ни генетически, ни морфологически — не соответствует туловищу. Парадокс русской (а по сути, и всякой другой) демократии в том, что она несовместима с народом. Народ, как понятие и реальность, то-

талитарен, и чтобы приспособить его к демократии, нужно лишь перевести его в разряд номинализма, после чего, потеряв целостность и став суммарностью, он котируется уже не как народ, а как население в опции повторно-разовых хождений к урнам. Между тем, понятый реалистически, он не суммативен, а репрезентативен, не: все до одного, а: все, как *немногие*. Народ и есть немногие, в идеале *один*, которого *видят* не когда находят его среди многих, а когда воспринимают многих через него. Говоря арифметически: число именно потому и складывается из суммы единиц, что само предваряет эту сумму, как бы деля себя на неё, чтобы через сложение заново восстановить свою первоначальную целостность. Оттого считают не народ, а население, которое есть статическая функция от народа и относится к народу, как сумма букв к слову или сумма тонов к мело-

Иван Владимиров. Агитация в деревне



Парадокс русской (а по сути, и всякой другой) демократии в том, что она несовместима с народом. Народ, как понятие и реальность, тоталитарен, и чтобы приспособить его к демократии, нужно лишь перевести его в разряд номинализма, после чего, потеряв целостность и став суммарностью, он котируется уже не как народ, а как население в опции повторно-разовых хождений к урнам.

дии. И когда их смешивают (скажем, в выдуманном каком-то шутником *народонаселении*) — а не смешивать нельзя, потому что на смешении и стоит демократия, — то смешивают, по существу, меньшинство и большинство, в результате чего меньшинство оказывается гомогенным с большинством. В числе бюллетеней, извлеченных из урн, голос Александра Сергеевича Пушкина подсчитывается — а главное, *учитывается* — наряду и наравне с голосом попа (он же купец Остолоп) и работника его Балды. Своеобразие голосования в том, что Пушкин и Балда не только

выбирают, но и выбираются и что, выбирая между Пушкиным и Балдой, большинство, по понятным причинам, всегда предпочтет балду, который как предпочтенный окажется-таки среди избранного меньшинства балбесов и дуботрясов. Социологи делают всё от них зависящее, чтобы придать ситуации когнитивную солидность. Выясняется, что народ — это не просто население, а некая *система*, основанная на саморегуляции, самоорганизации и информативности. Система носит имя *общество*, в котором место *vox populi* занимает общественное мнение, соответ-

ственно: место духа народа — институты общественного мнения. Если учесть, что анти тоталитарный пафос демократии и либерализма есть лишь изнанка тоталитаризма, причем в гораздо более опасной (поскольку замаскированной и неосознанной) форме, то становится понятной болезненная нетерпимость, чтобы не сказать агрессивность, с которой демократические идеологи отстаивают плюрализм мнений и толерантность. Редукции к *tabula rasa* и новой редакции подлежат сегодня не только эфемерности дня, но и практически всё нерукотворное, всё, что *вечнее меди* (*aere perennius*): от языка, которому вменяется в обязанность выражать уже не дух народа, а мелкого беса политической корректности, до морали, перестраивающей себя в строгом соответствии с максимальной



шекспировских ведьм: «Fair is foul, and foul is fair» («прекрасное безобразно, а безобразное прекрасно», *англ.*) — и дальше: до требований включить Библию в индекс запрещенных книг, «вследствие проповедуемых в ней идей геноцида, расизма, антисемитизма, антиконституционности и прочих извращений». Это чистейшей воды фундаментализм, отличие которого от фундаментализма исламского заключается, пожалуй, в том, что ему не хватает ни ума, ни мужества осознать себя в качестве такового.

6

Можно — с оглядкой на ницшевскую «Генеалогию морали» — воспроизвести механизм фабрикации этих новых идеалов в следующей цепи уточнений: народ (фактически: население), население (фактически: общество), общество (фак-

Большевики поняли, что Третий Рим, чтобы стать реальностью, нуждается не только в номенклатурной новизне, но и в новых мимикриях сообразно злобе дня. По модели: православие—самодержавие—народность плюс электрификация всей страны.

тически: общественное мнение), общественное мнение (фактически: институты общественного мнения), институты общественного мнения (фактически: проплачивающая их группа мечтателей-филантропов)... Интереснее всего то, что девальвация понятия «народ» и как следствие этого постепенное исчезновение реальности приходится как раз на эпоху расцвета демократии и либерализма. После 1945 года народ как понятие и реальность — едва ли не решающий пробный пуск демократических механизмов, степень эффективности которых определяется степенью его замены голый статистикой «душ», или «голов» населения. В качестве

испытательного — и показательного — полигона европейской демократии была выбрана — кто бы мог сомневаться — начисто выбомбленная послевоенная Германия. Успех пуска ошеломил даже экспериментаторов. Мог ли бард и рэпер Брехт представить себе, что его фраза: «Кто в наше время вместо *народ* говорит *население*, тот во многом уже не поддерживает ложь», — получит наглядность в восстановленном здании Рейхстага, в северном внутреннем дворе которого будет установлена инсталляция с огромными буквами «Der Bevölkerung» (населению) в пику к сохранившемуся на западном портале прежнему вильгельмианско-

му: «Dem deutschen Volke» (немецкому народу)! Понятно, что о пробе этого рода в России не могло быть и речи. Демократией в России никогда не пахло: ни теоретически, ни практически, никак. Министр Уваров, формулируя три начала, «которые составляют собственность России <...> и без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить», опирался на тысячулетнюю почву византизма и был донельзя далек от «столичных мальчиков» ельцинского разлива, которые, вдрызг начитавшись своих Делёзов и Деррида, с похмелья принялись генерировать русскую идею, с похмелья же востребованную их лихим президентом. Как если бы даже в России было в порядке вещей за просто так предпочесть православия рубку икон или пляску у алтаря, самодержавию — нетрезвого кинг-конга, поющего частушки, а народности — социологические опросы. Даже большевики с их неистовствующим атеизмом упраздняли, как известно, лишь внешнюю символику и атрибутику, не только не выпадая при этом из силового поля трех названных начал, но и даже потенцируя их до предела, того самого, после которого пружины теряют упругость, а идеи — вменяемость. Они лишь осовременивали их, поняв, как никто, что Третий Рим, чтобы стать реальностью, нуждается не только в номенклатурной новизне, но и в новых мимикриях сообразно злобе дня. По модели: православие—самодержавие—народность плюс электрификация всей страны. Большевизм был в этом смысле лишь более адекватным византизмом, не только вставляющим время обратно в пазы, но и синхронизирующим его в отдельных точечных симультанностях, вроде египетской мумии в центре Москвы и байконурского космодрома.

7

Всё, что случилось после, можно было бы назвать выпадением из жанра, как из окна. Ещё перестройка вполне вписывалась в топику типично русских смут сверху, но жанр вдруг пошел по швам, когда за сплошными джиннами свобод и головокружений перестали замечать бутылку, из которой они были выпущены. С марксизмом всё было куда проще. То, что Маркса просто лишили его лондонской прописки и переселили в Скоттопригоньевск, было хоть и неожиданной по видимости, зато вполне последовательной на деле реализацией его наиболее заветных и сокровенных потенций. Буржуазные марксисты могли кипеть от негодования при виде этого вопиющего произвола, как закипел бы, по всей вероятности, и сам Маркс, доживи он до происшедшего, но что значили бы все эти выхлопы субъективности по сравнению с объективным фактом становления Маркса более последовательным, а главное, более законченным самим собой: *Шигаевым*. Переход к гражданскому обществу и рыночной экономике модулировал, как ни странно, в петровскую тональность. России — во второй раз после Петра — не терпелось стать целиком и полностью Европой; после наспех проведенной перестройки, которая, по сути, была не чем иным, как сменой лозунгов и плакатов (читай: болтовней), началась *пересадка*: диковинный эксперимент социал-мичуринцев, замахнувшихся скрестить хоругвь с либертарианством и вырастить протестантские культуры на православном камне веры. Эти начитавшиеся в свое время Макса Вебера шестидесятники ухитрились упустить из виду очевидное: чтобы капитализм возникал из духа аскетической этики, а не из раз-

боя вчерашних комсомольских выскочек, выскочивших вдруг из своих закрытых партийных кормушек в «*закрома родины*», потребовалась бы, как минимум, религиозная реформация с заменой православия трансплантатом кальвинизма. Сказанное проясняется на следующем бесхитростном сравнении. Когда американский президент в кампании своих советников и министров молится у себя в кабинете, это понятно и даже естественно. Молитва здесь просто некий условный поведенческий рефлекс, приобретенный в повторяемости пресвитерианских практик. Пуританин-баптист молится по бихевиористской схеме «стимул—реакция», то есть по привычке, на которой он сидит, как на игле. В равной степени понятно и даже естественно, когда он делает это перед камерами. Под countdown оператора, так сказать: три, два, один, поехали! В Америке даже история делается лишь постольку, поскольку её снимают на камеру. Но когда в России православные службы отстаивают у алтаря первые лица, это уже никакая не молитва, а просто биеннале и постмодерн. Жорж Клемансо сказал однажды об Америке, что эта страна перешла от варварства к декадентству, минуя культуру. Похоже, Россия намерена и здесь обогнать Америку. Коан по-русски: как можно сойти с ума, не войдя в него. Европа в XVIII веке — время скепсиса, пресыщенности и просвещения. Она же за пять-шесть веков до этого — время соборов, рыцарства и крестовых походов. В безумной затее Петра России выпала участь прыгнуть в европейское Просвещение, перепрыгнув через европейское Средневековье. Как если бы у послушника отобрали Четьи-Минеи и заставили его читать «Порнограф» Ретифа де ла Бретонна. Но



Пётр — победитель, и в политической теологии двойного тела короля деяния его *«политического тела»* затмевают провалы его *«естественного тела»*, вроде тех, к примеру, о которых с такой мстительной иронией повествует граф фон Мантейфель: «Он превзошел себя. За столом он не отрывал, не пускал громко ветры, не ковырял в зубах, по крайней мере, я ничего не видел и не слышал». А для того чтобы подать руку царице, «он надел перчатки, впрочем достаточно грязные». Можно, конечно, гадать, как обстоят дела по этой части у нынешних реформаторов. Но только слепой стал бы оспаривать, что *«политическое тело»* (каким его придумали юристы елизаветинской эпохи, а в наше время столь блистательно описал Эрнст Канторович) сегодня легче можно найти у футболистов, боксеров, портных, эстрадных поп- или топзвезд, чем у собственно политиков.

Ещё перестройка вполне вписывалась в топику типично русских смут сверху, но жанр вдруг пошел по швам, когда за сплошными джиннами свобод и головокружений перестали замечать бутылку, из которой они были выпущены.

8

Не то чтобы гражданское общество и демократические свободы были невозможны в России. В России — кто бы стал спорить — возможно и не такое. Если, конечно, браться за дело с учетом национальных особенностей. Вот Пётр и взялся: он насаждал в России Голландию à la russe, на русский лад. Вздёрнул её на дыбы, умыл кровью и велел учиться грамоте и хорошим манерам. По шучьему велению, по моему хотенью. А не по немецким учебникам и французским энциклопедиям. Можно сколько угодно рационально планировать и обосновывать реформы в России, опираясь на зачуждые и заумные социоло-

гии; всё равно проводить их приходится с оглядкой не на логику, а на магию. Реформы в России не осуществляют, их ждут. Потому что реформатор — это ревизор-тавматург, а социальная справедливость — чудо, которое выманивают, впадая время от времени в бешенство. Таков канон русской истории, и ему впору либо следовать, либо нарушать его, но если уж нарушать, то попетровски, а не, с позволения сказать, горбачёво-ельцински. Демократия в России оттого и столь хлопотна, что она абсолютно не вживляемый трансплантат, если, конечно, его пересаживают, а не впаивают в организм. Когда диадок Горбачев, а вслед за ним и взбешающийся на танк, как на бро-

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872



Можно сколько угодно рационально планировать и обосновывать реформы в России, опираясь на занудные и заумные социологии; всё равно проводить их приходится с оглядкой не на логику, а на магию. Реформы в России не осуществляют, их ждут.

невик, Ельцин выходили в толпу и увещевали её взять себе столько свобод и суверенитета, сколько проглотится, им казалось, что это и есть демократия и что толпа сейчас вот-вот заговорит по-английски. Толпа по-английски не заговорила, зато заговорила по-блатному, и если к коммунизму шли через плюсы электрификации и индустриализации всей страны, то бонусом демократии оказалась криминализация под завывающий рефрен эстрадных клонов: «Братва, не стреляйте друг друга». У тысячелетнего демона-заступника российской государственности должен был отняться язык при виде случившегося: власть стала жалкой и никчемной, а главное, смешной и уже не в анекдотическом дубле, а в оригинале, *сама*. Особенностью советской системы была её абсолютная закрытость плюс до-

пинг страха. На чем эта система могла вообще держаться, так это на режиме сталинизма. Притом что сам сталинизм был не режимом и не системой, а самим Сталиным. Хрущёв, придя после Сталина, разоблачил Сталина, а вместе и сталинизм и положил тем самым начало концу. С этого момента советские вожди стоят перед альтернативой: быть либо как Сталин, либо смешными. Хрущёв — трикстер, потешник, фальстаф (о нем впоследствии гениально скажут, что он выпустил эков, но посадил кукурузу) — открывает карнавальный ряд: в цепной реакции, которую уже никто не мог остановить. А после Брежнева, «мелкого политического деятеля времён Аллы Пугачевой», идея и вообще задышала на ладан; в бой пошли одни мертвецы, пока наконец не возник Горбачёв, всё достоинство которого

было в том, что он мог держаться на ногах и хоть и нёс ахинею, зато без оглядки на логопеда. Определенно это был удавшийся Керенский, сделавший всё для прихода к власти «большевика» Ельцина, и то, что он не бежал, переодетый в женскую одежду, а, получив Нобелевскую премию, стал эмигрантом в собственной стране, лишний раз доказывает, что *время* — это не просто смена календарных листов, а сам мир в личностном модусе проживания («министр Бога по мирским делам», сказал однажды де Местр). С Ельциным застой перешел в запой; соль случая, однако, заключалась в том, что это был действительно прирожденный большевик, по сравнению с которым официально тусующиеся коммунисты выглядели лишь жалкими схемами. Ему только недоставало *источника питания* (партии), и оттого большевизм его был фантомным, угадываемым разве что в оцепенелости взгляда и псевдоволонтаристских особенностях дикции. Полагать, что с Ельциным к власти пришла

демократия, может, по-видимому, только тот, кто хочет так думать, либо тот, кто вообще не хочет думать. Если кто и пришел тогда к власти, так это приватизаторы-ушкунники, ставшие за ночь крэзами, криминальные авторитеты и уже просто шпана. Путин, что бы о нём ни говорили, остановил *этот* разгул, но и при Путине *презумпция безнаказанности* чиновников осталась и остается в силе... Парадокс русской демократии: она могла бы и удалась в России, если бы в России знали, во-первых, что она такое, и, во-вторых, если бы прививали её, не болтая о ней, а как всегда: сверху и кнутом. Просто тогда это не было бы уже демократией, потому что принудить к свободе, набив морду, — всё равно, что под страхом смерти заставить быть острым. Цель может сколько угодно оправдывать средства. Просто оправданные целью средства не ведут больше к цели. Короче, к демократии в России нельзя прийти ни без палки, ни под палкой, но в будущее здесь придётся, наверное, пробуждаться именно из этого буддистского коллапса.

9

А есть ли вообще это будущее? И если да, то может ли оно быть иначе и иным, чем прошлым, наступающим *повторно* и как *расплата*? Но прошлое, как и будущее, лишь функции от настоящего, которое полагает то и другое и, как полагаящее, оказывается первее того и другого. То, что прошлого и будущего уже нет и ещё нет, а настоящего нет в той мере, в какой оно непрерывно флуктуирует из ещё-нет в уже-нет, известно со времен Августина. При этом блистательные диалектики упускают из виду самих себя, собственную мысль, которая *есть*, и не просто *есть*, а прежде всяких *нет*. В своём *есть*

мысль, как полагаящее, есть настоящее, а в *нет*, как положенное, прошлое и будущее. Настоящее, таким образом, *раньше* не только будущего, но и прошлого, и именно с этого философски безупречного тезиса и начинается осмысленный исторический дискурс, в котором история оказывается уже не уткой в бывшее на одном конце и не стоянием перед небывшим на другом конце, а просто длящимся настоящим, «ни до, ни после» («kein Vor noch Nach» немецких мистиков). В противном случае, сознанию не остаётся ничего иного, как быть ностальгией о двух положенных концах, один из которых застрял в том, чего уже нет, а другой в том, чего ещё нет. Понятно, что настоящему, или самому полагаящему, тут

Особенностью советской системы была её абсолютная закрытость плюс допинг страха. На чем эта система могла вообще держаться, так это на режиме сталинизма. Притом что сам сталинизм был не режимом и не системой, а самим Сталиным.

нет и не может быть места. В качании маятника времени сознание фиксирует одни полюсы, а не саму раскачку, отчего и полюсы неизбежным образом теряют реальность и исчезают из зоны мыслимого в зону грезящего.

10

Россия с Петра столь же действительно грезит своё будущее, сколь неподвижно она до Петра грезила своё прошлое. В идеологии западников и славянофилов оба сна борются за право быть явью и тем глубже проваливаются в отсутствие: бывшее и небывшее. Шаблон сохраняет силу и по сей день, с той, пожалуй, разницей, что сегодня он раскалывает уже не только умы, но и настроения, грозя эскалацией и насилием. В противостоянии одних ностальгиков, грезящих о великой России с оглядкой на

Сталина или Ивана Грозного, и других, грезящих о ней же, но по модели западных демократий, важны не разногласия и не частности аргументации, в которой обе стороны более или менее удачно отстаивают свою позицию, а *единая составляющая сна*. Бодрствующему сознанию они предстают оборотнями одной и той же иллюзии, продолжающимся сном на одном, правом, и другом, левом, боку. Даже если (с учётом высокого процента выброса магии в политическую атмосферу России) допустить появление нового Сталина или, если угодно, Чингисхана, то вероятность этого будет едва ли большей, чем способность нынешних борцов за демократию быть действительно демократами. Любопытно, что Путин в самом

начале своего неожиданного президентства *показался* устраивающим как тех, так и других. Ностальгики вчерашнего вдохновлялись его недвусмысленными жестами в поддержку государственности. В свою очередь и поборники реформ, восприняв его как преемника отошедшего Ельцина, рассчитывали на продолжение бала, потому что не мог же их царь и бог передать власть случайному и не-нашему. Разочарование тех и других не заставило себя долго ждать, но решающим при этом было, что он разочаровал обе стороны не оттого, что не сдержал обещаний, а оттого, что как раз *сдержал их*, но сдержал так, что одни поносили его за уступки другим, а другие — за уступки первым. Каждый бок хотел, чтобы спалось на нем, тогда как спать между двух боков оказывалось не легче, чем си-



Парадокс русской демократии: она могла бы и удалась в России, если бы в России знали, во-первых, что она такое, и, во-вторых, если бы прививали её, не болтая о ней, а как всегда: сверху и кнутом. Просто тогда это не было бы уже демократией.

деть между двух стульев. Но даже в этом статусе неопределенности (явном нежелании развалить государственность и не менее явной невозможности сохранить её) Путин и сегодня ещё остаётся единственной фигурой, за которую инстинктивно держатся те, которые не хотят впасть ни в маразм фашизма, ни в маразм антифашизма. Достаточно лишь беглым взглядом окинуть оппозиционеров с обоих концов, чтобы немедленно и категорически отдать ему голос — даже при отсутствии симпатий и согласий. Ну кто же, будучи в здравом уме и сознании (не говоря уже о вкусе), не отшатнется от этих вальпургиевых призраков: «жалких проста-

ков», как назвал их Шопенгауэр, которые гордятся своей нацией просто потому, что у них нет ничего другого, чем они могли бы гордиться, и противостоящих им рабшасов, уже однажды разграбивших страну и готовых, после того как «пронесло», разграбить её повторно — на этот раз при поддержке блогеров, брокеров, рокеров, джокеров, модных девиц, писателей, эстрадных певцов, арт-критиков, обозревателей и прочих борцов за демократию. Держаться настоящего, *присутствовать*, значит видеть в происходящем распад, причём такой, что, шарахаясь от одних бесов, оказываешься в объятиях других. У Тита Ливия есть

замечание о временах, когда лекарства столь же вредны, как и болезни. Парадокс Путина, отвергаемого с обеих сторон, в том, что он *умеренный*, тогда как стороны — радикальны до нетерпимости, причём нетерпимость либералов, голосящих на всех углах о толерантности, похоже, оставила далеко позади себя нетерпимость консерваторов. От него требуют абсолютных решений, сужая предварительно абсолютное до собственных размеров и аппетитов. Трудно сказать, что тормозит реальный политический процесс сильнее и эффективнее, чем сами политики. Число которых теперь (в России, как и всюду в мире) растёт прямо пропорционально числу создаваемых ими же проблем. Вопрос (свободно по Фурье) при условии, что правильный ответ последовал бы с первой же попытки:

если врачи заинтересованы в росте болезней, а судейские чиновники в росте преступлений, то в росте чего заинтересованы собственно политики?

11

Можно допустить, что в мире социального есть нечто более страшное, чем болезнь: незнание болезни. Вопрос даже не в том, насколько сегодняшняя культура больна, а в том, что её болезнь оттого и близка к тому, чтобы стать неизлечимой, что её вообще не считают болезнью. Молодые балбесы заходят в музей, устанавливают транспаранты с общенно-политическими лозунгами, скидывают с себя одежду и начинают прилюдно случаться под камеры. Это сегодня называется перформанс. Среди них есть студенты философского факультета, одна из сношающихся на девятом месяце беременности. Акция, едва закончившись в музее, продолжается в средствах массовой информации. Мнения разделяются. На философском факультете МГУ переполох; балбесов как будто должны отчислить. Начинается шум. Студенты собираются провести митинг солидарности с «узниками совести». Камень преткновения в мнениях и оценках. Что это: хулиганство или акционизм? А может, и то и другое: хулиганство как акционизм. Или инициированная немцем Бойсом социальная пластика. Короче, искусство под слоганом: «*Каждый человек художник*». То есть взбреди кому-нибудь в голову прийти в музей или, скажем, в общество покровительства животным и прилюдно справиться там большую нужду, всё будет зависеть от того, под каким брендом это делается. Если просто так, то можно сразу звонить в милицию. А если как художественная акция, то лучше сперва адвоката, чтобы не вызвать возмуще-

ние мировой общественности. Один (филолог в розыске) предупреждает, что исключение студентов за художественную акцию «могло бы отразиться на международных рейтингах университета». Другой прямо-таки сияет от радости: «Поздравляю ребят. Есть чего Западу показать». Третий (все трое под брендом «интеллектуалы») напоминает: «Студенты были со второго курса, а этика преподается на четвертом». Балбесов, конечно, не отчисляют. Наверное, из страха прослыть фашистами. Потому что только фашисты могут преследовать за искусство... В этих реакциях гвоздь, которым заколачивают крышку гроба. Повторим: не в самой акции, а в общественной реакции на неё. Нужно представить себе человека, потерявшего руку, ногу, глаз, оба глаза и даже об этом не догадывающегося... Они просто настолько вжились в болезнь, свыклись с ней, стали ею, что недоумевают, когда это назы-

ем и даже бредом. Но ведь найдутся же и такие, которые воспримут это как реальность. Тогда их единственным отвечающим ситуации решением было бы объявление — для себя — *чрезвычайного положения*. Каждым, кто не потерял еще способности реагировать на вонь зажатием носа и распахиванием окон. Чрезвычайное положение — тотальная мобилизация всех, не тронутых ещё вирусом распада и разложения сил восприятия. Наверное, это — последнее, что ещё осталось. Полагаться на закон и адекватные реакции власти в обществе, напичканном анальгетиками либерализма и страдающем шизотипическими расстройствами, всё равно что при переходе улицы глядеть на светофор, а не на пьяных лихачей, устроивших гонки. Полагаться приходится на самих себя, «с оружием правды в правой и левой руке». Но как? А просто бойкотирова маразм. Немедленно и демонстративно покидать оперные театры, где

Парадокс Путина, отвергаемого с обеих сторон, в том, что он умеренный, тогда как стороны – радикальны до нетерпимости, причём нетерпимость либералов, голосащих на всех углах о толерантности, похоже, оставила далеко позади себя нетерпимость консерваторов.

вают болезнью. И даже купно обвиняют называющих в ретроградстве и нетерпимости. Всё, что мешает им распространять, разносить болезнь, заражать ею пространство публичности, оценивается ими как ущемление их прав и свобод в абсолютно выверенном расчёте на то, что они получат такую поддержку от международных организаций. Пробил час слабоумного. В России сегодня (радикальность сказанного верифицируется радикальностью свершаемого) в разгаре *гражданская война*, от исхода которой и зависит её будущее. Разумеется, многим это покажется преувеличени-

на сцене герои Моцарта отрыгиваются, прежде чем петь, а вагнеровские боги походят на бомжей. Обходить стороной выставки с выставленными в них кучами (пока синтетических) экскрементов. Не читать книг, уже с первых прочитанных страниц которых несёт помойкой и всем набором невменяемостей. Помнить, что будущее — это не завтрашний день, в который просыпаются каждое утро, а выбор, который делают сегодня, чтобы, проснувшись в завтра, проспались не в мусорный бак, а всё ещё в сознание. ☞

Базель, 7 июля 2012 года